

Н.А. Добролюбов

Что такое обломовщина?

(в сокращении)

<...>

По-видимому, не обширную сферу избрал Гончаров для своих изображений. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, — не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадною строгостью и правильностью; в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это — *обломовщина*; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени.

<...>

В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По внешнему своему положению — он барин; «у него есть Захар и еще триста Захаров», по выражению автора. Преимущество своего положения Илья Ильич объясняет Захару таким образом:

Разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? худошав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? из чего мне?.. И кому я это говорил? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан неясно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался.

И Обломов говорит совершенную правду. История его воспитания вся служит подтверждением его слов. С малых лет он привыкает быть байбаком благодаря тому, что у него и подать и сделать — есть кому; тут уж даже и против воли нередко он бездельничает и сибаритствует. Ну, скажите пожалуйста, чего же бы вы хотели от человека, выросшего вот в каких условиях:

Захар, — как, бывало, нянька, — натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Ильюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему, лежа, то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку. Потом Захарка чешет ему голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтобы не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру, — умыться и т. п.

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж трое-четверо слуг кидаются исполнить его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем, — ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому, а тут вдруг отец и мать да три тетки в пять голосов и закричат:

— Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька, Ванька, Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!

И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и выучился сам покрикивать: «Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!»

Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздаются десять отчаянных голосов: «Ах, ах, поддержите, остановите! упадет, расшибется!»

Стой, стой!..» Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку, — опять крики: «Ай, куда? как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: уьешься, простудишься...» И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая.

Такое воспитание вовсе не составляет чего-нибудь исключительного, странного в нашем образованном обществе. Не везде, конечно, Захарка натягивает чулки барчонок и т. п. Но не нужно забывать, что подобная льгота дается Захарке по особому снисхождению или вследствие высших педагогических соображений и вовсе не находится в гармонии с общим ходом домашних дел. Барчонок, пожалуй, и сам оденется; но он знает, что это для него вроде милого развлечения, прихоти, а в сущности, он вовсе не обязан этого делать сам. Да и вообще ему самому нет надобности что-нибудь делать. Из чего ему биться? Некому, что ли, подать и сделать для него все, что ему нужно?.. Поэтому он себя над работой убивать не станет, что бы ему ни толковали о необходимости и святости труда: он с малых лет видит в своем доме, что все домашние работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполнение. И вот у него уже готово первое понятие, — что сидеть сложа руки почетнее, нежели суетиться с работою... В этом направлении идет и все дальнейшее развитие.

Понятно, какое действие производится таким положением ребенка на все его нравственное и умственное образование. Внутренние силы «никнут и увядают» по необходимости. Если мальчик и пытается их иногда, то разве в капризах и в заносчивых требованиях исполнения другими его приказаний. А известно, как удовлетворенные капризы развивают бесхарактерность и как заносчивость несовместна с умением серьезно поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять бестолковые требования, мальчик скоро теряет меру возможности и удобоисполнимости своих желаний, лишается всякого умения соотносить средства с целями и потому становится в тупик при первом препятствии, для отстранения которого нужно употребить собственное усилие. Когда он вырастает, он делается Обломовым, с большей или меньшей долей его апатичности и бесхарактерности, под более или менее искусной маской, но всегда с одним неизменным качеством — отращением от серьезной и самобытной деятельности.

Много помогает тут и умственное развитие Обломовых, тоже, разумеется, направляемое их внешним положением. Как в первый раз они взглянут на жизнь навыворот, так уж потом до конца дней своих и не могут достигнуть разумного понимания своих отношений к миру и к людям. Им потом и растолкуют многое, они и поймут кое-что, но с детства искоренившееся воззрение все-таки удержится где-нибудь в уголку и беспрестанно выглядывает оттуда, мешая всем новым понятиям и не допуская их уложиться на дно души... И делается в голове какой-то хаос: иной раз человеку и решимость придет сделать что-нибудь, да не знает он, что ему начать, куда обратиться... И не мудрено: нормальный человек всегда хочет только того, что может сделать; зато он немедленно и делает все, что захочет... А Обломов... он не привык делать что-нибудь, следовательно не может хорошенько определить, что он может сделать и чего нет, — следовательно не может и серьезно, *дейтельно* захотеть чего-нибудь... Его желания являются только в форме: «А хорошо бы, если бы вот это сделалось»; но как это может сделаться, — он не знает. Оттого он любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на *авось*...

Все эти черты превосходно подмечены и с необыкновенной силой и истиной сосредоточены в лице Ильи Ильича Обломова. Не нужно представлять себе, чтобы Илья Ильич принадлежал к какой-нибудь особенной породе, в которой бы неподвижность составляла существенную, коренную черту. Несправедливо было бы думать, что он от природы лишен способности произвольного движения. Во все нет: от природы он — человек, как и все. В ребячестве ему хотелось побегать и поиграть в снежки с ребяташками, достать самому то или другое, и в овраг сбегать, и в ближайший березняк пробраться

через канал, плетни и ямы. Пользуясь часом общего в Обломовке послеобеденного сна, он разминался, бывало: «...взбегал на галерею (куда не позволялось ходить, потому что она каждую минуту готова была развалиться), обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе». А то — «забирался в канал, рылся, отыскивал какие-то корешки, очищал от коры и ел всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька». Все это могло служить задатком характера кроткого, спокойного, но не бессмысленно-ленивого. Притом и кротость, переходящая в робость и подставление спины другим, — есть в человеке явление вовсе не природное, а чисто благоприобретенное, точно так же, как и нахальство и заносчивость. И между обоими этими качествами расстояние вовсе не так велико, как обыкновенно думают. Никто не умеет так отлично вздергивать носа, как лакеи; никто так грубо не ведет себя с подчиненными, как те, которые подличают перед начальниками. Илья Ильич, при всей своей кротости, не боится поддать ногой в рожу обувавшему его Захару, и если он в своей жизни не делает этого с другими, так единственно потому, что надеется встретить противодействие, которое нужно будет преодолеть. Поневоле он ограничивает круг своей деятельности тремястами своих Захаров. А будь у него этих Захаров во сто, в тысячу раз больше — он бы не встречал себе противодействий и приучился бы довольно смело поддавать в зубы каждому, с кем случится иметь дело. И такое поведение вовсе не было бы у него признаком какого-нибудь зверства натуры; и ему самому, и всем окружающим оно казалось бы очень естественным, необходимым... никому бы и в голову не пришло, что можно и должно вести себя как-нибудь иначе. Но — к несчастью или к счастью — Илья Ильич родился помещиком средней руки, получал дохода не более десяти тысяч рублей на ассигнации и вследствие того мог распоряжаться судьбами мира только в своих мечтаниях. Зато в мечтах своих он и любил предаваться воинственным и героическим стремлениям. «Он любил иногда вообразить себя каким-нибудь непобедимым полководцем, пред которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит; выдумает войну и причину ее: у него хлынут, напр., народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия». А то он вообразит, что он великий мыслитель или художник, что за ним гоняется толпа, и все поклоняются ему... Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обуславливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляет едва ли не самую любопытную сторону его личности и всей его истории... Но как мог дойти до рабства человек с таким независимым положением, как Илья Ильич? Кажется, кому бы и наслаждаться свободой, как не ему? Не служит, не связан с обществом, имеет обеспеченное состояние... Он сам хвалится тем, что не чувствует надобности кланяться, просить, унижаться, что он не подобен «другим», которые работают без устали, бегают, суетятся, — а не поработают, так и не поедят... Он внушает к себе благоговейную любовь доброй вдовы Пшеницыной именно тем, что он *барин*, что он сияет и блещет, что он и ходит и говорит так вольно и независимо, что он «не пишет беспрестанно бумаг, не трясется от страха, что опоздает в должность, не глядит на всякого так, как будто просит оседлать его и поехать, а глядит на всех и на все так смело и свободно, как будто требует покорности себе». И, однако же, вся жизнь этого барина убита тем, что он постоянно остается рабом чужой воли и никогда не возвышается до того, чтобы проявить какую-нибудь самобытность. Он раб каждой женщины, каждого встречного, раб каждого мошенника, который захочет взять над ним волю. Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который

из них более подчиняется власти другого. По крайней мере — чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится... Оно так и следует: Захар все-таки умеет сделать хоть что-нибудь, а Обломов ровно ничего не может и не умеет. Нечего уже и говорить о Тарантьеве и Иване Матвеиче, которые делают с Обломовым что хотят, несмотря на то, что сами и по умственному развитию, и по нравственным качествам гораздо ниже его... Отчего же это? Да все оттого, что Обломов как барин не хочет и не умеет работать и не понимает настоящих отношений своих ко всему окружающему. Он не прочь от деятельности — до тех пор, пока она имеет вид призрака и далека от реального осуществления: так, он создает план устройства имения и очень усердно занимается им, — только «подробности, сметы и цифры» пугают его и постоянно отбрасываются им в сторону, потому что где же с ними возиться!... Он — барин, как объясняет сам Ивану Матвеичу:

Кто я, что такое? спросите вы... Подите спросите у Захара, и он скажет вам: «барин!» Да, я барин и делать ничего не умею! Делайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за труд возьмите себе, что хотите: — на то наука!

И вы думаете, что он этим хочет только отделаться от работы, старается прикрыть незнанием свою лень? Нет, он действительно не знает и не умеет ничего, действительно не в состоянии приняться ни за какое путное дело. Относительно своего имения (для преобразования которого сочинил уже план) он таким образом признается в своем неведении Ивану Матвеичу:

Я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый; не знаю, что значит четверть ржи или овса, что она стоит, в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают; не знаю, богат ли я, или беден, буду ли я через год сыт, или буду нищий — я ничего не знаю!.. Следовательно, говорите и советуйте мне, как ребенку...

Иначе сказать: будьте надо мною господином, распоряжайтесь моим добром, как вздумаете, уделяйте мне из него, сколько найдете для себя удобным... Так на деле-то и вышло: Иван Матвеич совсем было прибрал к рукам имение Обломова, да Штольц помешал, к несчастью.

И ведь Обломов не только своих сельских порядков не знает, не только положения своих дел не понимает: это бы еще куда ни шло!.. Но вот в чем главная беда: он и вообще жизни не умел осмыслить для себя. В Обломовке никто не задавал себе вопроса: зачем жизнь, что она такое, какой ее смысл и назначение? Обломовцы очень просто понимали ее, «как идеал покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным». Точно так относился к жизни и Илья Ильич. Идеал счастья, нарисованный им Штольцу, заключался ни в чем другом, как в сытной жизни — с оранжереями, парниками, поездками с самоваром в рошу и т. п., — в халате, в крепком сне, да для промежуточного отдыха — в идиллических прогулках с кроткою, но дебелую женою и в созерцании того, как крестьяне работают. Рассудок Обломова так успел с детства сложиться, что даже в самом отвлеченном рассуждении, в самой утопической теории имел способность останавливаться на данном моменте и затем не выходить из этого status quo, несмотря ни на какие убеждения. Рисуя идеал своего блаженства, Илья Ильич не думал спросить себя о внутреннем смысле его, не думал утвердить его законность и правду, не задал себе вопроса: откуда будут братья эти оранжереи и парники, кто их станет поддерживать и с какой стати будет он ими пользоваться?.. Не задавая себе подобных вопросов, не разясняя своих отношений к миру и к обществу, Обломов, разумеется, не мог осмыслить своей жизни и потому тяготился и скучал от всего, что ему приходилось делать. Служил он — и не мог понять, зачем это бумаги пишутся; не понявши же, ничего лучше не нашел, как выйти в отставку и ничего не писать. Учился он — и не знал, к чему может послужить ему наука; не узнавши этого, он решился сложить книги в угол и равнодушно смотреть, как их

покрывает пыль. Выезжал он в общество — и не умел себе объяснить, зачем люди в гости ходят; не объяснивши, он бросил все свои знакомства и стал по целым дням лежать у себя на диване. Сходилась он с женщинами, но подумал: однако чего же от них ожидать и добиваться? подумавши же, не решил вопроса и стал избегать женщин... Все ему наскучило и опостылело, и он лежал на боку, с полным сознательным презрением к «муравьиной работе людей», убивающихся и суетящихся бог весть из-за чего...

Дойдя до этой точки в объяснении характера Обломова, мы находим уместным обратиться к литературной параллели... Предыдущие соображения привели нас к тому заключению, что Обломов не есть существо, от природы совершенно лишенное способности произвольного движения. Его лень и апатия есть создание воспитания и окружающих обстоятельств. Главное здесь не Обломов, а обломовщина. Он бы, может быть, стал даже и работать, если бы нашел дело по себе; но для этого, конечно, ему надо было развиваться несколько под другими условиями, нежели под какими он развился. В настоящем же своем положении он не мог нигде найти себе дела по душе, потому что вообще не понимал смысла жизни и не мог прийти до разумного воззрения на свои отношения к другим. Здесь-то он и подает нам повод к сравнению с прежними типами лучших наших писателей. Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле,— раскройте, напр., «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват?», «Рудина», или «Лишнего человека», или «Гамлета Щигровского уезда», — в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова. <...>

Илья Ильич не отстал... от своих собратий: он тоже писал и переводил... «Где же твои работы, твои переводы?» — спрашивает его потом Штольц. — «Не знаю, Захар куда-то дел; в углу, должно быть, лежат», — отвечает Обломов. Выходит, что Илья Ильич даже больше, может быть, сделал, чем другие, принимавшиеся за дело с такой же твердой решимостью, как и он... А принимались за это дело почти все братцы обломовской семьи, несмотря на разницу своих положений и умственного развития. Печорин только смотрел свысока на «поставщиков повестей и сочинителей мещанских драм»... <...>

Относительно «присвоения себе чужого ума», то есть чтения, Обломов тоже не много расходится с своими братьями. Илья Ильич читал тоже кое-что и читал не так, как покойный батюшка его: «Давно, говорит, не читал книги»; «дай-ко, почитаю книгу», — да и возьмет, какая под руку попадется... Нет, веяние современного образования коснулось и Обломова: он уже читал по выбору, сознательно.

Услышит о каком-нибудь замечательном произведении,— у него явится позыв познакомиться с ним: он ищет, просит книги, и, если принесут скоро, он примется за нее, у него начнет формироваться идея о предмете; еще шаг, и он овладел бы им, а посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, а книга лежит подле него недочитанная, непонятая... Охлаждение овладевало им еще быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой книге.

Не то ли же самое было и с другими? Онегин, думая себе присвоить ум чужой, начал с того, что

Отрядом книг оставил полку

и принялся читать. Но толку не вышло никакого: чтение скоро ему надоело, и —

Как женщин, он оставил книги
И полку, с пыльной их семьей,
Задержнул траурной тафтой.

<...> В домашней жизни обломовцы тоже очень похожи друг на друга:

Прогулки, чтение, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,

Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина,—
Вот жизнь Онегина святая...

То же самое, слово в слово, за исключением коня, рисуется у Ильи Ильича в идеале домашней жизни. Даже поцелуй черноокой белянки не забыт у Обломова. «Одна из крестьянок, — мечтает Илья Ильич, — с загорелой шеей, с открытыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива... тс... жена чтоб не увидала, боже сохрани!» (Обломов воображает себя уже женатым)... И если б Илье Ильичу не лень было уехать из Петербурга в деревню, он непременно привел бы в исполнение задушевную свою идиллию. Вообще обломовцы склонны к идиллическому, бездейственному счастью, которое «ничего от них не требует: «Наслаждайся, мол, мною, да и только...» Уж на что, кажется, Печорин, а и тот полагает, что счастье-то, может быть, заключается в покое и сладком отдыхе. Он в одном месте своих записок сравнивает себя с человеком, томимым голодом, который «в изнеможении засыпает и видит пред собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние...» В другом месте Печорин себя спрашивает: «Отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?» Он сам полагает, — оттого что «душа его сжилась с бурями: и жаждет кипучей деятельности...» Но ведь он вечно недоволен своей борьбой, и сам же беспрестанно высказывает, что все свои дрянные дебоширства затевает потому только, что ничего лучшего не находит делать. А уж коли не находит дела и вследствие того ничего не делает и ничем не удовлетворяется, так это значит, что к безделью более склонен, чем к делу... Та же обломовщина...

Отношения к людям и в особенности к женщинам тоже имеют у всех обломовцев некоторые общие черты. Людей они вообще презирают с их мелким трудом, с их узкими понятиями и близорукими стремлениями... <...>

Даже Онегин имеет за собою два стиха, гласящие, что

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей.

<...> И наш Илья Ильич не уступит никому в презрении к людям: оно ведь так легко, для него даже усилий никаких не нужно! Он самодовольно проводит перед Захаром параллель между собой и «другими»; он в разговорах с приятелями выражает наивное удивление, из-за чего это люди бьются, заставляя себя ходить в должность, писать, следить за газетами, посещать общество и проч. Он даже весьма категорически выражает Штольцу сознание своего превосходства над всеми людьми.

Жизнь, говорит, в обществе? Хороша жизнь! Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!

<...>

В отношении к женщинам все обломовцы ведут себя одинаково постыдным образом. Они вовсе не умеют любить и не знают, чего искать в любви, точно так же, как и вообще в жизни. Они не прочь пококетничать с женщиной, пока видят в ней куклу,двигающуюся на пружинках; не прочь они и поработить себе женскую душу... как же! этим бывает очень довольна их барственная натура! Но только чуть дело дойдет до чего-нибудь серьезного, чуть они начнут подозревать, что пред ним действительно не игрушка, а женщина, которая может и от них потребовать уважения к своим правам,— они немедленно обращаются в постыднейшее бегство. Трусость у всех этих господ непомерная: Онегин, который так «рано умел тревожить сердца кокеток записных», который женщин «искал без упоенья, а оставлял без сожаленья», — Онегин струсил перед Татьяной, дважды струсил, — и в то

время, когда принимал от нее урок, в тогда, как сам ей давал его. Она ему ведь нравилась с самого начала, в если бы любила менее серьезно, он не подумал бы принять с нею тон строгого нравоучителя. А тут он увидел, что шутить опасно, и потому начал толковать о своей отжитой жизни, о дурном характере, о том, что; она другого полюбит впоследствии, и т. п. Впоследствии он сам объясняет свой поступок тем, что, «заметь искру нежности в Татьяне, он не хотел ей верить» и что

Свою постылую свободу
Он потерять не захотел.

А какими фразами-то прикрыл себя, малодушный!

<...> Таким же оказывается и Печорин, специалист по части женского сердца, признающийся, что, кроме женщин, он ничего в свете не любил, что для них он готов пожертвовать всем на свете. И он признается, что, во-первых, «не любят женщин с характером: их ли это дело!» — во-вторых, что он никогда не может жениться. «Как бы страстно я ни любил женщину, — говорит он, — но если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, — прости, любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто не разогреет его снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? куда я себя готовлю? чего я жду от будущего? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие» и т. д. А в сущности, это — больше ничего, как обломовщина.

А Илья Ильич разве, вы думаете, не имеет в себе, в свою очередь, печоринского и рудинского элемента, не говоря об онегинском? Еще как имеет-то! Он, например, подобно Печорину, хочет непременно *обладать* женщиной, хочет вынудить у нее всяческие жертвы в доказательство любви. Он, видите ли, не надеялся сначала, что Ольга пойдет за него замуж, и с робостью предложил ей быть его женой. Она ему сказала что-то вроде того, что это давно бы ему следовало сделать. Он пришел в смущение, ему стало не довольно согласия Ольги, и он — что бы вы думали?.. он начал — пытаться ее, столько ли она его любит, чтобы быть в состоянии сделаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдет по этому пути; но затем ее объяснение и страстная сцена успокоили его... А все-таки он струсил под конец до того, что даже на глаза Ольге, боялся показаться, прикидывался больным, прикрывал себя разведенным мостом, давал понять Ольге, что она его может компрометировать, и т. д. И все отчего?— оттого, что она от него потребовала решимости, дела, того, что не входило в его привычки. Женитьба сама по себе не страшила его так, как страшила Печорина и Рудина; у него более патриархальные были привычки. Но Ольга захотела, чтоб он пред женитьбой устроил дела по имению; это уж была бы *жертва*, и он, конечно, этой жертвы не совершил, а явился настоящим Обломовым. А сам между тем очень требователен. Он сделал с Ольгой такую штуку, какая и Печорину впору была бы. Ему вообразилось, что он не довольно хорош собою и вообще не довольно привлекателен для того, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Он начинает страдать, не спит ночь, наконец вооружается энергией и строчит к Ольге длинное... послание, в котором повторяет известную, тертую и перетертую вещь, говоренную и Онегиным Татьяне, и Рудиным Наталье, и даже Печориним княжне Мери: «Я, дескать, не так создан, чтобы вы могли быть со мною счастливы; придет время, вы полюбите другого, более достойного».

Сменит не раз молодая дева
Мечтами легкие мечты...
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет...
К беде неопытность ведет.

Все обломовцы любят уничтожать себя; но это они делают с той целью, чтоб иметь удовольствие быть опровергнутыми и услышать себе похвалу от тех, пред кем они себя

ругают. Они довольны своим самоунижением... Так и Онегин после ругательств на себя рисуется перед Татьяной своим великодушием. Так и Обломов, написавши к Ольге пасквиль на самого себя, чувствовал, «что ему уж не тяжело, что он почти счастлив»... Письмо свое он заключает тем же нравоучением, как и Онегин свою речь: «История со мною пусть, говорит, послужит вам руководством в будущей, нормальной любви» и пр. Илья Ильич, разумеется, не выдержал себя на высоте унижения перед Ольгой: он бросился подсмотреть, какое впечатление произведет на нее письмо, увидел, что она плачет, удовлетворился и — не мог удержаться, чтобы не предстать перед ней в сияющую критическую минуту. А она доказала ему, каким он пошлым и жалким эгоистом явился в этом письме, написанном «из заботы об ее счастье». Тут уже он окончательно спасовал, как делают, впрочем, все обломовцы, встречая женщину, которая выше их по характеру и по развитию.

<...>

Во всем, что мы говорили, мы имели в виду более обломовщину, нежели личность Обломова и других героев. <...> Кто же станет спорить, что личная разница между людьми существует (хотя, может быть, и далеко не в той степени и не с тем значением, как обыкновенно предполагают). Но дело в том, что над всеми этими лицами тяготеет одна и та же обломовщина, которая кладет на них неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете. Весьма вероятно, что при других условиях жизни, в другом обществе, Онегин был бы истинно добрым малым, Печорин и Рудин делали бы великие подвиги... Но при других условиях развития, может быть, и Обломов... не был бы таким байбаком, а нашел бы себе какое-нибудь полезное занятие... Дело в том, что теперь-то у них всех одна общая черта — бесплодное стремление к деятельности, сознание, что из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего... В этом они поразительно сходятся.

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?... А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, — лучший цвет жизни.

Это — Печорин... <...> Илья Ильич тоже не отстаёт от прочих: и он «болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища». Видите — *сокровища* были зарыты в его натуре, только раскрыть их пред миром он никогда не мог. <...>

Обломов тоже мечтал в молодости «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых источников...» Да и теперь он «не чужд всеобщих человеческих скорбей, ему доступны наслаждения высоких помыслов», и хотя он не рыщет по свету за исполинским делом, но все-таки мечтает о всемирной деятельности, все-таки с презрением смотрит на чернорабочих...

А бездельничает он ничуть не больше, чем все остальные братья обломовцы; только он откровеннее, — не старается прикрыть своего безделья даже разговорами в обществах и гуляньем по Невскому проспекту.

Но отчего же такая разница впечатлений, производимых на нас Обломовым и героями, о которых мы вспоминали выше? Те представляются нам в разных родах сильными натурами, задавленными неблагоприятной обстановкой, а этот — байбаком, который и при самых лучших обстоятельствах ничего не сделает. Но, во-первых, — у Обломова темперамент слишком вялый; и потому естественно, что он для осуществления своих замыслов и для отпора враждебных обстоятельств употребляет еще несколько менее попыток, нежели сангвинический Онегин или желчный Печорин. В сущности же они все равно несостоятельны пред силою враждебных обстоятельств, все равно погружа-

ются в ничтожество, когда им предстоит настоящая, серьезная деятельность. В чем обстоятельства Обломова открывали ему благоприятное поле деятельности? У него было именье, которое мог он устроить; был друг, вызывавший его на практическую деятельность; была женщина, которая превосходила его энергией характера и ясностью взгляда и которая нежно полюбила его... Да скажите, у кого же из обломовцев не было всего этого, в что все они из этого сделали? <...> А дружба? Что они все делают с своими друзьями? Онегин убил Ленского; Печорин только все пикируется с Вернером... <...> О любви нечего и говорить. Каждый из обломовцев встречал женщину выше себя... и каждый постыдно бежал от ее любви или добивался того, чтоб она сама прогнала его... Чем это объяснить, как не давлением на них гнусной обломовщины?

Кроме разницы темперамента, большое различие находится в самом возрасте Обломова и других героев. Говорим не о годах: они почти однолетки... Обломов относится к позднему времени, стало быть, он уже для молодого поколения, для современной жизни, должен казаться гораздо старше, чем казались прежние обломовцы... Он в университете, каких-нибудь семнадцати–восемнадцати лет, прочувствовал те стремления, проникся теми идеями, которыми одушевляется Рудин в тридцать пять лет. За этим курсом для него было только две дороги: или деятельность, настоящая деятельность, — не языком, а головой, сердцем и руками вместе, или уже просто лежанье сложа руки. Апатическая натура привела его к последнему: скверно, но по крайней мере тут нет лжи и обморочиванья. Если б он, подобно своим братьям, пустился толковать во всеуслышание о том, о чем теперь осмеливается только мечтать, то он каждый день испытывал бы огорчения, подобные тем, какие испытал по случаю получения письма от старосты и приглашения от хозяина дома — очистить квартиру. Прежде с любовью, с благоговением слушали фразеров, толкующих о необходимости того или другого, о высших стремлениях и т. п. Тогда, может быть, и Обломов не прочь был бы поговорить... Но теперь всякого фразера и прожектера встречают требованием; «А не угодно ли попробовать?» Этого уж обломовцы не в силах снести...

<...>

А ведь толпа права! Если уж она сознала необходимость настоящего дела, так для нее совершенно все равно, — Печорин ли перед ней или Обломов. Мы не говорим опять, чтобы Печорин в данных обстоятельствах стал действовать именно так, как Обломов; он мог самыми этими обстоятельствами развиться в другую сторону. Но типы, созданные сильным талантом, долговечны: и ныне живут люди, представляющие как будто сколок с Онегина, Печорина, Рудина и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других обстоятельствах, а именно в том, в каком они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова. Нельзя сказать, что превращение это уже совершилось: нет, еще и теперь тысячи людей проводят время в разговорах, и тысячи других людей готовы принять разговоры за дела. Но что превращение это начинается — доказывает тип Обломова, созданный Гончаровым. Появление его было бы невозможно, если бы хотя в некоторой части общества не созрело сознания о том, как ничтожны все эти quasi-талантливые натуры, которыми прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали к себе разными талантами. Но теперь Обломов является пред нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: *что он делает? в чем смысл и цель его жизни?* — поставлен прямо и ясно, не забит никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало, или настает неотлагательно, время работы общественной... И вот почему мы сказали в начале статьи, что видим в романе Гончарова *знамение времени*.

Посмотрите, в самом деле, как изменилась точка зрения на образованных и хорошо рассуждающих лежебоков, которых прежде принимали за настоящих общественных деятелей.

Вот перед вами молодой человек, очень красивый, ловкий, образованный. Он выезжает в большой свет и имеет там успех; он ездит в театры, балы и маскарады; он отлично одевается и обедает; читает книжки и пишет очень грамотно... Сердце его волнуется только ежедневностью светской жизни, но он имеет понятие и о высших вопросах. Он любит потолковать о страстях,

О предрассудках вековых
И гроба тайнах роковых...

Он имеет некоторые честные правила: способен

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменить,

способен иногда не воспользоваться неопытностью девушки, которую не любит; способен не придавать особенной цены своим светским успехам. Он выше окружающего его светского общества настолько, что дошел до сознания его пустоты; он может даже оставить свет и переехать в деревню; но только и там скучает, не зная, какое найти себе дело... От нечего делать он ссорится с другом своим и по легкомыслию убивает его на дуэли... Через несколько лет опять возвращается в свет и влюбляется в женщину, любовь которой сам прежде отверг, потому что для нее нужно было бы ему отказаться от своей бродяжнической свободы... Вы узнаете в этом человеке Онегина. Но всмотритесь хорошенько; это — Обломов.

Перед вами другой человек, с более страстной душой, с более широким самолюбием. Этот имеет в себе как будто от природы все то, что для Онегина составляет предмет забот. Он не хлопочет о туалете и наряде: он светский человек и без этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать мишурным знанием: и без этого язык у него как бритва. Он действительно презирает людей, хорошо понимая их слабости; он действительно умеет овладеть сердцем женщины не на краткое мгновение, а надолго, нередко навсегда. Все, что встречается ему на его дороге, он умеет отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: он не знает, куда идти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Он все испытал, и ему еще в юности опротивели все удовольствия, которые можно достать за деньги; любовь светских красавиц тоже опротивела ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоели, потому что он увидел, что от них не зависит ни слава, ни счастье; самые счастливив люди — невежды, а слава — удача; военные опасности тоже ему скоро наскучили, потому что он не видел в них смысла и скоро привык к ним. Наконец, даже простосердечная, чистая любовь дикой девушки, которая ему самому нравится, тоже надоедает ему: он и в ней не находит удовлетворения своих порывов. Но что же это за порывы? куда влекут они? отчего он не отдается им всей силой души своей? Оттого, что он сам их не понимает и не дает себе труда подумать о том, куда девать свою душевную силу; и вот он проводит свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается на ссоры, выказывает отвагу в пустяках, дерется без надобности... Вы припоминаете, что это история Печорина, что отчасти почти такими словами сам он объясняет свой характер Максиму Максимычу... Всмотритесь, пожалуйста, получше: вы и тут увидите того же Обломова...

<...>

Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них значило бы лишить их жизни. Все у них внешнее, ничто не имеет корня в их натуре. Они, пожалуй, и делают что-то такое, когда принуждает внешняя необходимость, так как Обломов ездил в гости, куда тащил его Штольц, покупал ноты и книги для Ольги, читал то, что она заставляла его читать. Но душа их не лежит к тому делу, которое наложено на них случаем. Если бы каждому из них даром предложили все внешние выгоды, какие им доставляются их работой, они бы

с радостью отказались от своего дела. В силу обломовщины обломовский чиновник не станет ходить в должность, если ему и без того сохраняют его жалование и будут производить в чины. Воин даст клятву не прикасаться к оружию, если ему предложат те же условия да еще сохраняют его красивую форму, очень полезную в известных случаях. Профессор перестанет читать лекции, студент перестанет учиться, писатель бросит авторство, актер не покажется на сцену, артист изломает резец и палитру, говоря высоким слогом, если найдет возможность даром получить все, чего теперь добывается трудом. Они только говорят о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о проникновении общими интересами, а на поверку выходит, что все это — слова и слова. Самое искреннее, задушевное их стремление есть стремление к покою, к халату, и самая деятельность их есть не что иное, как *почетный халат* (по выражению, не нам принадлежащему), которым прикрывают они свою пустоту и апатию. Даже наиболее образованные люди, притом люди с живою натурою, с теплым сердцем, чрезвычайно легко отступаются в практической жизни от своих идей и планов, чрезвычайно скоро мирятся с окружающей действительностью, которую, однако, на словах не перестают считать пошлою и гадкою. Это значит, что все, о чем они говорят и мечтают, — у них чужое, наносное; в глубине же души их коренится одна мечта, один идеал — возможно невозмутимый покой, квинетизм, обломовщина. Многие доходят даже до того, что не могут представить себе, чтоб человек мог работать по охоте, по увлечению. Прочтите-ка в «Экономическом указателе» рассуждения о том, как все умрут голодною смертью от безделья, ежели равномерное распределение богатства отнимет у частных людей побуждение стремиться к наживанию себе капиталов...

Да, все эти обломовцы никогда не перерабатывали в плоть и кровь свою тех начал, которые им внушили, никогда не проводили их до последних выводов, не доходили до той грани, где слово становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственною силою, двигающею человеком. Потому-то эти люди и лгут беспрестанно, потому-то они и являются так несостоятельными в частных фактах своей деятельности. Потому-то и дороже для них отвлеченные воззрения, чем живые факты, важнее общие принципы, чем простая жизненная правда. Они читают полезные книги для того, чтобы знать, что пишется; пишут благородные статьи затем, чтобы любоваться логическим построением своей речи; говорят смелые, вещи, чтобы прислушиваться к благозвучию своих фраз и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далее, какая цель всего этого читанья, писанья, говоренья, — они или вовсе не хотят знать, или не слишком об этом беспокоятся. Они постоянно говорят вам: вот что мы знаем, вот что мы думаем, а впрочем, — как там хотят, наше дело — сторона... Пока не было работы в виду можно было еще надувать этим публику, можно было тщеславиться тем, что мы вот, дескать, все-таки хлопочем, ходим, говорим, рассказываем... Даже больше — можно было заняться кутежом, интрижками, каламбурами, театральством — и уверять, что это мы пустились, мол, оттого, что нет простора для более широкой деятельности. Тогда и Печорин, и даже Онегин, должен был казаться натурою с необъятными силами души. Но теперь уж все эти герои отодвинулись на второй план, потеряли прежнее значение, перестали сбивать нас, с толку своей загадочностью и таинственным разладом между ними и обществом, между великими их силами и ничтожностью дел их...

Теперь загадка разъяснилась,
Теперь им слово найдено.

Слово это — *обломовщина*.

Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, — я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он — Обломов.

Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности *тихого шага* и т. п., я не сомневаюсь, что он Обломов.

Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали,— я думаю, что это все пишут из Обломовки.

Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменияющимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, — я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку...

Остановите этих людей в их шумном разглагольствии и скажите: «Вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно делать?» Они не знают... Предложите им самое простое средство,— они скажут: «Да как же это так вдруг?» Непременно скажут, потому что Обломовы иначе отвечать не могут... Продолжайте разговор с ними и спросите: что же вы намерены делать? — Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье: «Что делать? Разумеется, покориться судьбе. Что же делать! Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но, посудите сами...» и пр. Больше от них вы ничего не дождетесь, потому что на всех их лежит печать обломовщины.

Кто же наконец сдвинет их с места этим всемогущим словом «вперед!», о котором так мечтал Гоголь и которого так давно и томительно ожидает Русь? До сих пор нет ответа на этот вопрос ни в обществе, ни в литературе. Гончаров, умевший понять и показать нам нашу обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблуждению, до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век», — говорит он устами Штольца, и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочитает Обломова, не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово; не за что говорить об нас с Ильею Ильичом следующие строки:

В нем было то, что дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото: он невинно пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла; пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот,— никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа: таких людей мало; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем, на него всюду и везде можно положиться.

Распространяться об этом пассаже мы не станем; но каждый из читателей заметит, что в нем заключена большая неправда. Одно в Обломове хорошо действительно: то, что он не усиливался надуть других, а уж так и являлся в натуре — лежебоком. Но, помилуйте, в чем же на него *можно положиться*? Разве в том, где ничего делать не нужно? Тут он действительно отличится так, как никто. Но ничего-то не делать и без него можно. Он не поклонится идолу зла! Да ведь почему это? Потому, что ему лень встать с дивана. А стащите его, поставьте на колени перед этим идиолом: он не в силах будет встать. Не подкупишь его ничем. Да на что его подкупать-то? На то, чтобы с места сдвинулся? Ну, это действительно трудно. Грязь к нему не пристанет! Да пока лежит один, так еще ничего; а как придет Тарантьев, Затерный, Иван Матвейч — бррр! какая отвратительная гадость начинается около Обломова. Его объедают, опивают, спаивают, берут с него фальшивый вексель (от которого Штолец несколько бесцеремонно, по русским обычаям, без суда и следствия избавляет его), разоряют его именем мужиков, дерут с него немилосердные деньги ни за что ни про что. Он все это терпит безмолвно и потому, разумеется, не издаст ни одного фальшивого звука.

Нет, нельзя так льстить живым, а мы еще живы, мы еще по-прежнему Обломовы. <...> Кто из наших литераторов, публицистов, людей образованных, общественных деятелей, кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имел, в виду Гончаров, когда писал об Илье Ильиче следующие строки:

Ему доступны были наслаждения высоких помыслов: он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремления куда-то вдаль, туда, вероятно в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц. Сладкие слезы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу, и разгорится желанием указать человеку на его язвы, и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем,— задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преобразуются в стремления: он, движимый нравственною силою, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом... Вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, господи! каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от какого высокого усилия! но, смотришь, промелькнет утро, день уж клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова: бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом. И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!

Не правда ли, образованный и благородно мыслящий читатель, — ведь тут верное изображение ваших благих стремлений и вашей полезной деятельности? Разница может быть только в том, до какого момента вы доходите в вашем развитии. Илья Ильич доходил до того, что привставал с постели, протягивал руку и озирался вокруг. Иные так далеко не заходят; у них только мысли гуляют в голове, как волны в море (таких большая часть); у других мысли вырастают в намерения, но не доходят до степени стремлений (таких меньше); у третьих даже стремления являются (этих уж совсем мало)...

Итак, следуя направлению настоящего времени, когда вся литература, по выражению г. Бенедиктова, представляет

...нашей плоти истязанье,
Вериги в прозе и стихах, —

мы смиренно сознаемся, что как ни лестны для нашего самолюбия похвалы г. Гончарова Обломову, но мы не можем признать их справедливыми. Обломов менее раздражает свежего, молодого, деятельного человека, нежели Печорин и Рудин, но все-таки он противен в своей ничтожности.

Отдавая дань своему времени, г. Гончаров вывел и противоядие Обломову — Штольца. Но по поводу этого лица мы должны еще раз повторить наше постоянное мнение, — что литература не может забегать слишком далеко вперед жизни. Штольцев, людей с цельным, деятельным характером, при котором всякая мысль тотчас же является стремлением и переходит в дело, еще нет в жизни нашего общества (разумею образованное общество, которому доступны высшие стремления; в массе, где идеи и стремления ограничены очень близкими и немногими предметами, такие люди беспрестанно попадают). Сам автор сознавал это, говоря о нашем обществе: «Вот, глаза очнулись от дремоты, слышались бойкие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» Должно явиться их много, в этом нет сомнения; но теперь пока для них нет почвы. Оттого-то из романа Гончарова мы и видим только, что Штольц — человек деятельный, все о чем-то хлопочет, бегаёт, приобретает, говорит, что жить — значит трудиться, и пр. Но что он делает, и как он ухитряется делать что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать,— это для нас остается тайной. Он мигом устроил Обломовку для Ильи Ильича; — как? этого мы не знаем. Он мигом уничтожил фальшивый вексель Ильи Ильича; — как? это мы знаем. Поехав к начальнику Ивана Матвеича, которому Обломов дал вексель, поговорил с ним дружески — Ивана Матвеича призвали в присутствие и не только что вексель велели возратить, но даже и из службы выходить приказали. И поделом ему, разумеется; но, судя по этому случаю, Штольц не дорос еще до идеала общественного русского деятеля. Да и нельзя еще: рано. <...> И мы не понимаем, как мог Штольц в своей деятельности успокоиться от всех стремлений и потребностей, которые одолевали даже Обломова, как мог он удовлетвориться своим положением, успокоиться на своем одиноком, отдельном, исключи-

тельном счастье... Не надо забывать, что под ним болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще расчищать лес, чтобы выйти на большую дорогу и убежать от обломовщины. Делал ли что-нибудь для этого Штольц, что именно делал и как делал, — мы не знаем. А без этого мы не можем удовлетвориться его личностью... Можем сказать только то, что не он тот человек, который «сумеет, на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово: “Вперед!”».

Может быть, Ольга Ильинская способнее, нежели Штольц, к этому подвигу, ближе его стоит к нашей молодой жизни. Мы ничего не говорили о женщинах, созданных Гончаровым: ни об Ольге, ни об Агафье Матвеевне Пшеницыной (ни даже об Анисье и Акулине, которые тоже отличаются своим особым характером), потому что сознавали свое совершеннейшее бессилие что-нибудь сносное сказать о них. Разбирать женские типы, созданные Гончаровым, значит предъявлять претензию быть великим знатоком женского сердца. Не имея же этого качества, женщинами Гончарова можно только восхищаться. Дамы говорят, что верность и тонкость психологического анализа у Гончарова — изумительна, и дамам в этом случае нельзя не поверить... Прибавить же что-нибудь к их отзыву мы не осмеливаемся, потому что боимся пускаться в эту совершенно неведомую для нас страну. Но мы берем на себя смелость, в заключение статьи, сказать несколько слов об Ольге и об отношениях ее к обломовщине.

Ольга, по своему развитию, представляет высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни, оттого она необыкновенной ясностью и простотой своей логики и изумительной гармонией своего сердца и воли поражает нас до того, что мы готовы усомниться в ее даже поэтической правде и сказать: «Таких девушек не бывает». Но, следя за нею во все продолжение романа, мы находим, что она постоянно верна себе и своему развитию, что она представляет не сентенцию автора, а живое лицо, только такое, каких мы еще не встречали. В ней-то более, нежели в Штольце, можно видеть намек на новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину... Она начинает с любви к Обломову, с веры в него, в его нравственное преобразование... Долго и упорно, любовью и нежною заботливостью, трудится она над тем, чтобы возбудить жизнь, вызвать деятельность в этом человеке. Она не хочет верить, чтобы он был так бессилен на добро; любя в нем свою надежду, свое будущее создание, она делает для него все: пренебрегает даже условными приличиями, едет к нему одна, никому не сказавшись, и не боится, подобно ему, потери своей репутации. Но она с удивительным тактом замечает тотчас же всякую фальшь, проявляющуюся в его натуре, и чрезвычайно просто объясняет ему, как и почему это ложь, а не правда. Он, например, пишет ей письмо, о котором мы говорили выше, и потом уверяет ее, что писал это единственно из заботы о ней, совершенно забывши себя, жертвуя собою и т. д. — «Нет, -- отвечает она, -- неправда; если б вы думали только о моем счастье и считали необходимостью для него разлуку с вами, то вы бы просто уехали, не посылая мне предварительно никаких писем». Он говорит, что боится ее несчастья, если она со временем поймет, что ошибалась в нем, разлюбит его и полюбит другого. Она спрашивает в ответ на это: «Где же вы тут видите несчастье мое? Теперь я вас люблю, и мне хорошо; а после я полюблю другого, и, значит, мне с другим будет хорошо. Напрасно вы обо мне беспокоитесь». Эта простота и ясность мышления включает в себе задатки новой жизни, не той, в условиях которой выросло современное общество... Потом, — как воля Ольги послушна ее сердцу! Она продолжает свои отношения и любовь к Обломову, несмотря на все посторонние неприятности, насмешки и т. п., до тех пор, пока не убеждается в его решительной дрянности. Тогда она прямо объявляет ему, что ошиблась в нем, и уже не может решиться соединить с ним свою судьбу. Она еще хвалит и ласкает его и при этом отказе, и даже после; но своим поступком она уничтожает его, как ни один из обломовцев не был уничтожаем женщиной. Татьяна говорит Онегину, в заключении романа:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана
И буду век ему верна...

Итак, только внешний нравственный долг спасает ее от этого пустого фата; будь она свободна, она бы бросилась ему на шею. <...> Нечего и говорить о Печорине, который успел заслужить только *ненависть* княжны Мери. Нет Ольга не так поступила с Обломовым. Она просто и кротко сказала ему: «Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен... как голубь; ты спрячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей... да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего — не знаю!» И она оставляет Обломова, и она стремится к своему *чему-то*, хотя еще и не знает его хорошенько. Наконец, она находит его в Штольце, соединяется с ним, счастлива; но и тут не останавливается, не замирает. Какие-то туманные вопросы и сомнения тревожат ее, она чего-то допытывается. Автор не раскрыл пред нами ее волнений во всей их полноте, и мы можем ошибиться в предположении насчет их свойства. Но нам кажется, что это в ее сердце и голове веяние новой жизни, к которой она несравненно ближе Штольца. Думаем так потому, что находим несколько намеков в следующем разговоре:

— Что же делать? поддаться и тосковать? – спросила она.

— Ничего, – сказал он, – вооружаться твердостью и спокойствием. Мы не Титаны с тобой, – продолжал он, обнимая ее, – мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и...

— А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить все больше, больше?... – спрашивала она.

— Что ж? примем ее, как новую стихию жизни... Да нет, этого не бывает, не может быть у нас! Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля... Все это страшно, когда человек отрывается от жизни, — когда нет опоры. А у нас...

Он не договорил, что у нас... Но ясно, что это *он* не хочет «идти на борьбу с мятежными вопросами», *он* решается «смирненно склонить голову»... А она готова на эту борьбу, тоскует по ней и постоянно страшится, чтоб ее тихое счастье с Штольцем не превратилось во что-то, подходящее к обломовской апатии. Ясно, что она не хочет склонять голову и смиренно переживать трудные минуты, в надежде, что потом опять улыбнется жизнь. Она бросила Обломова, когда перестала в него верить; она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него. А это случится, ежели вопросы и сомнения не перестанут мучить ее, а он будет продолжать ей советы — принять их, как новую стихию жизни, и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько сил, чтоб произвести над нею суд беспощадный...